

ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА

ГЛАВА I

Рассвет

Башня старинного английского собора? Откуда тут взялась башня английского собора? Так хорошо знакомая, квадратная башня — вон она высится, серая и массивная, над крышей собора... И еще какой-то ржавый железный шпиль — прямо перед башней... Но его же на самом деле нет! Нету такого шпиля перед собором, с какой стороны к нему ни подойди. Что это за шпиль, кто его здесь поставил? А может быть, это просто кол, и его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Ну да, так оно и есть, потому что вот уже гремят цимбалы, и длинное шествие — сам султан со свитой — выходит из дворца... Десять тысяч ятаганов сверкают на солнце, трижды десять тысяч алмей усыпают дорогу цветами. А дальше белые слоны — их столько, что не счесть, — в блистающих яркими красками пополах, и несметные толпы слуг и провожатых... Однако башня английского собора по-прежнему маячит где-то на заднем плане — где она быть никак не может — и на колу все еще не видно извивающегося в муках тела... Стой! А не может ли быть, что этот шпиль — это предмет самый обыденный — всего-навсего ржавый шип на одном из столбиков расхлябанной и осевшей кровати? Сонный смех сопровождает эти догадки и размышления.

Человек, чье разорванное сознание медленно восстанавливалось, выплывая из хаоса фантастических

видений, приподнялся наконец, дрожа всем телом; опершись на руки, он огляделся кругом. Он в тесной жалкой комнатухе с нищенским убранством. Сквозь дырявые занавески на окнах с грязного двора просачивается тусклый рассвет. Он лежит одетый, поперек неопрятной кровати, которая и в самом деле осела под тяжестью, ибо на ней — тоже поперек, а не вдоль, и тоже одетые, лежат еще трое: китаец, ласкар и худая изможденная женщина. Ласкар и китаец спят — а может быть, это не сон, а какое-то оцепенение; женщина пытается раздуть маленькую, странного вида трубку. При этом она заслоняет чашечку костлявой рукой, и в предрассветном сумраке рдеющий уголек бросает на нее отблески, словно крошечная лампа; и пробудившийся человек видит ее лицо.

— Еще одну? — спрашивает она жалобным, хриплым шепотом. — Дать вам еще одну?

Он озирается, прижимая руку ко лбу.

— Вы уже пять выкурили с полуночи, как пришли, — продолжает женщина с той же, видимо привычной для нее, жалобной интонацией. — Ох, горюшко мне, горе, голова у меня все болит. Эти двое уж после вас пришли. Ох, горюшко, дела-то плохи, плохи, хуже некуда. Забредет китаец какой из доков, да вот ласкар, а новых кораблей, говорят, сейчас и не ждут. Ну вот тебе, милый, трубочка! Ты только не забудь — цена-то сейчас на рынке страх какая высокая! За этакий вот наперсток — три шиллинга шесть пенсов, а то и больше еще сдерут! И не забывай, голубчик, что только я одна знаю, как смешивать, — ну и еще Джек-китаец на той стороне двора, только где ему до меня! Он так не сумеет! Так уж ты заплати мне как следует, ладно?

Говоря, она раздувает трубку, а иногда и сама затягивается, вбирая при этом немалую долю ее содержимого.

— Ох, беда, беда, грудь у меня слабая, грудь у меня большая! Ну вот, милый, почти уж и готово. Ах, горюшко, эк рука-то у меня дрожит, словно вот-вот

отвалится. А я смотрю на тебя, вижу, ты проснулся, ну, думаю, надо ему еще трубочку изготовить. А уж он попомнит, какой опиум сейчас дорогой, заплатит мне как следует. Ох, головушка моя бедная! Я трубки делаю из чернильных склянок, малюсеньких, что по пенни штука, вот как эта, видишь, голубчик? А потом прилажу к ней чубучок, вот этак, а смесь беру этой вот роговой ложечкой, вот так, ну и все, вот и готово. Ох, нервы у меня! Я ведь шестнадцать лет пила горькую, а потом вот за это взялась. Ну да от этого вреда нету. А коли и есть, так самый маленький. Зато голода не чувствуешь и тратиться на еду не надо.

Она подает наполовину опустевшую трубку и, откинувшись на постель, переворачивается вниз лицом.

Пошатываясь, он встает, кладет трубку на очаг, раздвигает рваные занавески и с отвращением оглядывает троих лежащих. Он отмечает про себя, что женщина от постоянного курения опиума приобрела странное сходство с китайцем. Очертания его щек, глаз, висков, его цвет кожи повторяются в ней. Китаец делает судорожные движения — быть может, борется во сне с каким-нибудь из своих многочисленных богов или демонов — и злобно скалит зубы. Ласкар ухмыляется; слюни текут у него изо рта. Женщина лежит неподвижно.

Пробудившийся человек смотрит на нее сверху вниз, стоя возле кровати; потом, нагнувшись, поворачивает к себе ее голову.

— Какие видения ее посещают? — раздумывает он, вглядываясь в ее лицо. — Что грезится ей? Множество мясных лавок и трактиров, где без ограничений отпускают в кредит? Толпа посетителей в ее гнусном притоне, новая кровать взамен этого мерзкого одра, чисто подметенный двор вместо зловонной помойки за окном? Выше этого ей все равно не подняться, сколько ни выкури она опиума! Что?..

Он нагибается еще ниже, вслушиваясь в ее бормотание.

— Нет, ничего нельзя понять!

Он опять смотрит на нее: по временам ее всю словно встряхивает во сне; судорожные подергивания сотрясают ее лицо и тело — так иногда ночью от беглых молний содрогается темное небо; и это, видимо, заражает его — настолько, что он вынужден отойти к облезлому креслу у очага, поставленному там, возможно, именно на такой случай, и посидеть, крепко ухватившись за ручки, пока ему не удастся одолеть злого духа подражания. Потом он опять подходит к кровати, хватая китайца за горло и поворачивает его лицом к себе. Китаец противится, пытается отодрать его руки, хрипит и что-то бормочет.

— Что?.. Что ты говоришь?

Минута настороженного ожидания.

— Нет, нельзя понять!

Сдвинув брови, внимательно вслушиваясь в несвязный лепет, он медленно разжимает руки. Затем оборачивается к ласкару и попросту сбрасывает его с кровати. Грохнувшись об пол, тот приподнимается, сверкает глазами, делает яростные жесты, замахивается воображаемым ножом. И тут выясняется, что женщина еще раньше, безопасности ради, отобрала у него нож; ибо теперь она тоже вскакивает, кричит, унимает его, и, когда наконец оба рядом валяются на пол, вновь охваченные сном, нож ясно обозначается не у него, а у нее под платьем.

Шуму и крику было довольно, но трудно было что-либо во всем этом разобрать. Если и прорывались отдельные слова, то без смысла и связи. Поэтому третий, пристально следивший за ними, выводит прежнее свое заключение:

— Нет, ничего нельзя понять! — Он говорит это с удовлетворенным кивком головы и с мрачной усмешкой. Затем кладет на стол горсть серебряных монет, отыскивает свою шляпу, ощупью спускается по выбитым ступенькам, попутно пожелав доброго утра при-

вратнику, воюющему с крысами в темной своей камерке под лестницей, и исчезает.

В тот же день под вечер массивная серая башня предстает издали глазам утомленного путника. Колокола звонят к вечерне, и, должно быть, ему непременно нужно на ней присутствовать, ибо, ускоряя шаги, он спешит к открытым дверям собора. Когда он входит, певчие уже надевают свои запачканные белые стихари; он достает собственный свой стихарь и, накинув его, присоединяется к выходящей из ризницы процессии. Затем ризничий запирает решетчатую дверь, певчие торопливо расходятся по местам и, склонив головы, закрывают лицо руками. И через миг первые слова песнопения: «Егда придет нечестивый» — будят в вышине под сводами и среди балок крыши грозные отголоски, подобные дальним раскатам грома.

ГЛАВА II

Настоятель — и прочие

Кто наблюдал когда-нибудь грача, эту степенную птицу, столь сходную по внешности с особой духовного звания, тот видел, наверно, не раз, как он, в компании таких же степенных, клерикального вида сотоварищей, стремится в конце дня свой полет на ночлег, к гнездовьям; и как при этом два грача вдруг отделяются от остальных и, пролетев немного назад, задерживаются там и неизвестно почему медлят; так что невольно приходит мысль, что по каким-то тайным соображениям, продиктованным, быть может, высшей политикой грачиной стаи, эти два хитреца умышленно делают вид, будто не имеют с ней ничего общего.

Так и здесь, после того как кончилось богослужение в старинном соборе с квадратной башней и певчие, толкаясь, высыпали из дверей, и разные почтен-

ные особы, видом весьма напоминаящие грачей, разбрелись по домам, двое из них поворачивают назад и неторопливо прохаживаются по обнесенному оградой гулкому двору собора.

Не только день, но и год идет к концу. Яркое и все же холодное солнце висит низко над горизонтом за развалинами монастыря, и дикий виноград, оплетающий стену собора и уже наполовину оголенный, роняет темно-красные листья на потрескавшиеся каменные плиты дорожек. Днем был дождь, и теперь под порывами ветра зыбкая дрожь пробегает порой по лужицам в выбоинах камней и по громадным вязам, заставляя их внезапно проливать холодные слезы. Опавшая листва лежит всюду толстым слоем. Несколько листочков робко пытаются найти убежище под низким сводом церковной двери; но отсюда их безжалостно изгоняют, отбрасывая ногами, двое запоздалых молельщиков, которые в эту минуту выходят из собора. Затем один запирает дверь тяжелым ключом, а другой поспешно удаляется, зажимая под мышкой увесистую нотную папку.

— Кто это прошел, Топ? Мистер Джаспер?

— Да, ваше преподобие.

— Как он сегодня задержался!

— Да, ваше преподобие. И я задержался из-за него. Он, видите ли, стал вдруг не в себе...

— Надо говорить «ему стало не по себе», Топ. А «стал не в себе» — это неудобно перед настоятелем, — вмешивается более молодой из двоих грачей тоном упрека, как бы желая сказать: «Можно употреблять неправильные выражения в разговоре с мирянами или с младшим духовенством, но не с настоятелем».

Мистер Топ, главный жезлоносец и старший сторож, привыкший важничать перед туристами, которыми он по долгу службы руководит при осмотре собора, встречает адресованную ему поправку высокомерным молчанием.

— А когда же и каким образом мистеру Джасперу стало не по себе — ибо, как справедливо заметил мистер Криспаркл, лучше говорить «не по себе», да, да, Топ, именно «не по себе», — солидно внушает своему собеседнику настоятель.

— Так точно, сэр, не по себе, — почтительно поддакивает Топ.

— Так когда же и каким образом ему стало не по себе, Топ?

— Да видите ли, сэр, мистер Джаспер до того задохся...

— На вашем месте, Топ, я не стал бы говорить «задохся», — снова вмешивается мистер Криспаркл тем же укоризненным тоном. — Неудобно — перед настоятелем.

— Да, «задохнулся» было бы, пожалуй, правильнее, — снисходительно замечает настоятель, польщенный этой косвенной данью уважения к его сану.

— Мистер Джаспер до того тяжело дышал, — продолжает Топ, искусно обходя возникший на его пути подводный камень, — до того он тяжело дышал, когда входил в церковь, что уж петь ему было труднехонько. И может, по этой причине с ним потом и произошло что-то на манер припадка. Память у него *затмилась*, — это слово мистер Топ произносит с убийственной отчетливостью, не сводя глаз с мистера Криспаркла и как бы вызывая его что-либо тут усовершенствовать. — Голова закружилась, и глаза стали мутные, даже боязно было на него смотреть, хоть сам он вроде не жаловался. Ну я его усадил, подал водицы, и он вскорости вышел из этого *затмения*. — Мистер Топ повторяет этот столь удачно найденный оборот с таким нажимом, словно хочет сказать: «Ловко я вас поддел, а? Так нате ж вам еще раз».

— Но домой он ушел уже совсем оправившись?

— Да, ваше преподобие, домой он ушел уже совсем оправившись. И я вижу, он велел затопить у себя камин. Это он хорошо сделал, потому на дворе

мокрядь, да и в церкви нынче было ужас как сыро, и мистер Джаспер даже весь дрожал как в лихорадке.

Все трое обращают взгляд к каменному строению, протянувшемуся поперек двора, — бывшей монастырской привратницей над широкой аркой ворот. В окне с мелким переплетом мерцает огонь, а кругом уже стужается сумрак, окутывая тенями пышные вороха плюща и дикого винограда на фасаде привратницы. Соборный колокол вдруг начинает отбивать часы, и в тот же миг под налетевшим ветром зыблется листва вдали на фасаде, как будто и ее колеблет мощная волна звуков, гулом наполняющая собор и реющая над башней и гробницами, над разбитыми нишами и выщербленными статуями.

— А племянник мистера Джаспера уже приехал?

— Нет еще, — отвечает жезлоносец. — Но его ждут. Сейчас мистер Джаспер один. Видите, вон его тень? Это он стоит как раз между двумя своими окнами — тем, что выходит сюда, и тем, что на Главную улицу. А вот он задерживает занавески.

— Ну что ж, — бодрым тоном говорит настоятель, давая понять, что происходившее только что маленькое совещание закончено, — надеюсь, мистер Джаспер не слишком отдается чувству привязанности к своему племяннику. В нашем брэнном мире не должно допускать, чтобы наши чувства — пусть даже самые похвальные — властвовали над нами; наоборот, мы должны ими управлять, — да, да, именно управлять ими! Однако этот звон не без приятности напоминает мне, что меня ждут к обеду. Быть может, вы, мистер Криспарк, по дороге домой заглянете к Джасперу?

— Обязательно загляну. Могу я сказать ему, что вы любезно осведомлялись о его здоровье?

— О да, конечно. Осведомлялся о его здоровье. Вот именно. Осведомлялся о его здоровье.

С приятно покровительственным видом настоятель заламывает набекрень свою украшенную лентами шля-

пу — конечно, только слегка, насколько это прилично столь важному духовному лицу, когда оно в веселом настроении, — и, бодро переступая затянутыми в изящные гетры ногами, направляется к сияющим рубиновым светом окнам столовой в уютном кирпичном домике, где он в настоящее время «имеет свое пребывание» вместе с супругой и дочерью.

Мистер Криспаркл, младший каноник, белокурый и румяный, всегда встающий на заре и не упускающий случая хоть раз в день нырнуть с головой в какой-нибудь подходящий по глубине водоем — реку ли, озеро ли — в окрестностях Клойстергэма; мистер Криспаркл, младший каноник, знаток музыки и античной словесности, приветливый, всем довольный, любезный и общительный, юноша по виду, если не по годам; мистер Криспаркл, недавно еще репетитор в колледже, а нынешнюю свою должность получивший благодаря покровительству некоего отца, признательного за успешное обучение сына, и сменивший, таким образом, водительство молодых умов по большим дорогам языческой мудрости на вождение душ по стезе христианской веры; мистер Криспаркл, младший каноник и добрый человек, хоть и спешит домой к чаю, не забывает, однако, зайти в привратническую над воротами.

— Я с огорчением услышал от Топа, что вы прихворнули, Джаспер.

— Ну что вы, это сущие пустяки.

— Вид у вас, во всяком случае, не совсем здоровый.

— Разве? Ну, не думаю. А главное, я этого совсем не чувствую. Топ, наверно, бог знает что вам наговорил. Это уж у него по должности выработалась такая привычка — придавать чрезмерное значение всему, что связано с собором.

— Так, значит, я могу передать настоятелю — я здесь по особому желанию настоятеля, — что вы уже совсем оправились?

Мистер Джаспер отвечает с легкой улыбкой:

— О да, конечно. И передайте, пожалуйста, настоятелю мою благодарность за внимание.

— Я слышал, к вам должен приехать молодой Друд?

— Я жду моего дорогого мальчика с минуты на минуту.

— Это очень хорошо. Он принесет вам больше пользы, чем доктор.

— Больше, чем десять докторов. Потому что я люблю его всей душой, а докторов с их латинской кухней не люблю вовсе.

Мистер Джаспер смугл лицом, и его густые блестящие черные волосы и бачки тщательно расчесаны. Ему лет двадцать шесть, но на вид он кажется старше, как это часто бывает с брюнетами. Голос у него низкий и звучный, фигура статная и лицо красивое, но манера держаться несколько сумрачная. Да и комната его мрачновата, и, возможно, это тоже на нем сказалось. Комната почти вся тонет в тени. Даже когда солнце ярко сияет на небе, лучи его редко достигают рояля в углу, или толстых нотных тетрадей на пупитре, или полки с книгами на стене, или портрета, что висит над камином; на этом портрете изображена прехорошенькая юная девушка — школьница по возрасту; ее рассыпавшиеся по плечам светло-каштановые кудри перевязаны голубой лентой, и ее красоте еще больше своеобразия придает забавное выражение какого-то ребяческого упрямства — как будто она сердится на кого-то и сама понимает, что не права, но ничего знать не хочет. Портрет не имеет никаких художественных достоинств — это только набросок; но видно, что художник старался не без юмора — а может быть, даже с долей злорадства — быть верным оригиналу.

— Очень сожалею, Джаспер, что вы сегодня не будете на очередной нашей Музыкальной среде, но, конечно, вам лучше посидеть дома. Итак, доброй ночи,

будьте здоровы! «Скажите, па-астухи, скажите мне, ска-ажите мне-е-е; видали ль вы (видали ль вы, видали ль вы, видали ль вы) как Фло-о-ора ми-и-илая тропой сей проходи-ила!..» И, разливаясь, как соловей, добряк младший каноник, его преподобие Септимус Криспаркл, на прощание просияв улыбкой, исчезает за дверью и спускается по лестнице.

Снизу слышны приветственные возгласы — досто-почтенный Септимус, видимо, с кем-то здоровается. Мистер Джаспер прислушивается, вскакивает со стула и принимает в объятия нового гостя.

— Дорогой мой Эдвин!

— Ах, милый Джек! Рад тебя видеть!

— Ну раздевайся же, раздевайся, мой мальчик, и усаживайся в своем уголке. Ноги у тебя не промокли? Сними башмаки. Сейчас же сними башмаки!

— Милый Джек, ничего у меня не промокло. И пожалуйста, не нянчись со мной. Терпеть не могу, когда со мной нянчатся.

Столь бесцеремонно одернутый в искреннем порыве чувств, мистер Джаспер теперь уж стоит неподвижно и только пристально смотрит на своего молодого гостя, пока тот снимает пальто, шляпу и перчатки. Этот пристальный, остро внимательный взгляд, это выражение жадной, требовательной, настороженной и вместе с тем бесконечно нежной привязанности всякий раз появляется на лице Джаспера, когда оно обращено к гостю. И взгляд Джаспера при этом никогда не бывает рассеянным; глаза его прямо-таки впиваются в лицо Эдвина.

— Ну вот, я теперь готов и могу посидеть в моем уголке. А как, Джек, насчет обеда?

Мистер Джаспер распахивает дверь в дальнем конце гостиной: за ней видна еще небольшая комната, где весело горит лампа и стол уже накрыт белой скатертью. Весьма авантажная, средних лет женщина составляет на нем блюда.

— Ах, Джек, молодчинище! — восклицает юноша, хлопая в ладоши. — Но послушай, скажи-ка мне: чей сегодня день рождения?

— Не твой, насколько я знаю, — отвечает тот после минутного раздумья.

— Не мой, насколько ты знаешь? Да уж конечно, не мой, я, представь себе, тоже это знаю. Кискин, вот чей!

Мистер Джаспер, как всегда во время разговора, смотрит прямо на Эдвина; но на сей раз его взгляд каким-то загадочным образом прихватывает по пути и портрет над камином.

— Да, Джек, Кискин! И мы с тобой должны выпить за ее здоровье. Ну, дядя, веди же своего почтительного и голодного племянника к столу.

С этими словами юноша — он и в самом деле еще юноша, почти мальчик — кладет руку на плечо Джаспера, а тот дружески и весело кладет ему на плечо свою, и так, обнявшись, они входят в столовую.

— Бог мой, да это же миссис Топ! — восклицает Эдвин. — И до чего же похорошела!

— Да вам-то какая печаль, мистер Эдвин? — обрывает его супруга главного жезлоносца. — Авось я могу сама о себе позаботиться!

— Нет, не можете. Для этого вы слишком красивы. Ну, поцелуйте меня разок по случаю дня рождения Киски!

— Ох и показала бы я вам, молодой человек, будь я на месте Киски, как вы ее называете, — заливаясь румянцем, говорит миссис Топ, после того как она подверглась поцелуйному обряду. — Это все ваш дядя виноват, вот что! Он так с вами носится, что вы уж небось думаете — все Киски на свете так и прибегут к вам гурьбой, стоит вам только кликнуть!

— Вы забываете, миссис Топ, — с добродушной усмешкой вставляет Джаспер, усаживаясь за стол, — да и ты, Нэд, видно, забыл, что слова «дядя» и «племянник» здесь под запретом — с общего согласия и по осо-

бому постановлению. Очи всех на тебя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремении... Аминь.

— Здорово ты это, Джек! Хоть самому настоятелю впору. О чем свидетельствую. Подпись: Эдвин Друд. Разрежь, пожалуйста, жаркое — я не умею.

Так, среди шуток и смеха, под веселую болтовню, начинается обед. Затем наступает молчание, пока гость и хозяин расправляются с едой. Наконец скатерть снимают, и на стол водружается блюдо грецких орехов и графин с золотистым хересом.

— Джек, — снова заговаривает юноша, — скажи, ты правда чувствуешь, что всякое упоминание о нашем родстве мешает дружбе между нами? Я этого не чувствую.

— Видишь ли, Нэд, — отвечает хозяин, — дяди, как правило, бывают гораздо старше племянников, поэтому у меня невольно и возникает такое чувство.

— Как правило! Ну, допустим. Но если разница всего шесть-семь лет, какое это имеет значение? А в больших семьях случается даже, что дядя моложе племянника. Хорошо бы у нас с тобой так было!

— Почему хорошо?

— А я бы тогда наставлял тебя на путь истинный, и уж такой бы я был строгий и неотвязный, как сама Забота, что юноше кудри сединами убелила, а старца седого в гроб уложила. Подожди, Джек! Не пей!

— Почему?

— Ты еще спрашиваешь! Пить в день рождения Киски и без тоста за ее здоровье! И так, за Киску, Джек, и чтобы их было еще много, много! То есть дней ее рождения, я хочу сказать.

Мистер Джаспер ласково кладет ладонь на протянутую руку юноши, как будто касается в этот миг его бесшабашной головы и беззаботного сердца, и в молчании осушает свой бокал.

— Дай бог ей здравствовать сто лет, и еще сто, и еще годик на придачу! Ура-ура-ура! А теперь, Джек,

поговорим немного о Киске. Ага! Тут две пары щипцов — мне одну, тебе другую. — Крак! — Ну, Джек, так каковы ее успехи?

— В музыке? Более или менее удовлетворительны.

— До чего же ты осторожен в выражениях, Джек!

Но я-то и без тебя знаю! Ленился, да? Невнимательна?

— Она все может выучить, когда хочет.

— Когда хочет! В том-то и дело! А когда не хочет?

— Крак! — Это щипцы в руках мистера Джаспера.

— А как она теперь выглядит, Джек?

Снова взгляд мистера Джаспера, обращенный к Эдвину, каким-то образом прихватывает по пути и портрет над камином.

— Точь-в-точь как на твоём рисунке.

— Да, этим произведением я горжусь, — самодовольно говорит юноша; прищутив один глаз и держа щипцы перед собой, он разглядывает портрет с видом знатока. — Для наброска по памяти очень недурно. Впрочем, неудивительно, что я уловил выражение — мне так часто случалось видеть его у Киски!

— Крак! — Это Эдвин Друд.

— Крак! — Это мистер Джаспер.

— Собственно говоря, — обидчиво говорит Эдвин после краткого молчания, посвященного выковыриванию орехов из скорлупы, — собственно говоря, я его вижу всякий раз, как посещаю Киску. И если его нет на Кискином лице в начале нашего свидания, так уж оно непременно есть к концу.

— Крак! Крак! Крак! — Это мистер Джаспер, задумчиво.

— Крак! — Это Эдвин Друд, сердито.

Снова пауза.

— Что же ты молчишь, Джек?

— А ты, Нэд?

— Нет, в самом деле! Ведь в конце концов, это... это...

Мистер Джаспер вопросительно поднимает свои темные брови.

— Разве это справедливо, что в таком деле я лишен выбора? Вот что я тебе скажу, Джек. Если бы я мог выбирать, я бы из всех девушек на свете выбрал только Киску.

— Но тебе не нужно выбирать.

— То-то и плохо. Чего ради моему покойному отцу и покойному отцу Киски вздумалось обручить нас чуть не в колыбели? Какого... черта, хотел я сказать, но это было бы неуважение к их памяти... Ну, в общем, не могли они, что ли, оставить нас в покое?

— Но, но, дорогой мой! — с мягким упреком останавливает его Джаспер.

— «Но, но!» Да, тебе хорошо говорить! Ты можешь относиться к этому спокойно! Твою жизнь не расчертили всю наперед, словно топографическую карту. Думаешь, это приятно — сознавать, что тебя силком навязали девушке, которая этого, может быть, вовсе не хочет! А ей приятно, что ли, сознавать, что ее навязали кому-то, может быть, против его желания? И что ей уж никуда больше нет ходу? Ты-то можешь сам выбирать. Для тебя жизнь как плод прямо с дерева, а мне от излишней заботливости подали его отмытый, обтертый, без прелести и аромата... Джек, что ты?

— Ничего. Продолжай. Не останавливайся.

— Я чем-то тебя обидел, Джек?

— Чем ты можешь меня обидеть?

— Господи, Джек, да тебе дурно?.. У тебя глаза вдруг стали какие-то мутные...

Мистер Джаспер с насильственной улыбкой протягивает к нему руку — то ли чтобы его успокоить, то ли чтобы отстранить и дать себе время оправиться. Немного погодя он говорит слабым голосом:

— Я принимал опиум от болей — мучительных болей, которые иногда у меня бывают. А сейчас это последствия лекарства — вдруг станет темно-темно, словно я во мгле какой-то или в тумане... Но это пройдет; уже проходит. Не смотри на меня... скорее пройдет.

Испуганный юноша повинуется и переводит глаза на тлеющие угли в камине. Застывший взгляд мистера Джаспера по-прежнему устремлен в огонь и даже как будто становится еще острее и напряженнее; пальцы впились в подлокотники; он сидит как окаменелый; затем крупные капли пота выступают у него на лбу, и с судорожным вздохом он откидывается на спинку кресла. Племянник нежно и заботливо ухаживает за ним, пока силы к нему не возвращаются. Когда уже все прошло и Джаспер стал опять таким же, как всегда, он кладет руку на плечо Эдвина и говорит неожиданно спокойно и даже чуть насмешливо, словно подтрунивая над простодушным юношей:

— Говорят, в каждом доме есть своя тайна, скрытая от чужих глаз. А ты думал, Нэд, что в моей жизни этого нет?

— Честное слово, Джек, я и сейчас так думаю. Но конечно, если поразмыслить, то даже в Кискином доме — если бы он у нее был — или в моем — если бы он был у меня...

— Ты, кажется, начал говорить — только я нечаянно тебя прервал — о том, какая у меня спокойная жизнь. Вдали от суеты и шума, ни хлопот, ни тревог, ни переездов с места на место — сижу в тихом уголке и занимаюсь любимым своим искусством, так что работа для меня вместе с тем удовольствие... Так, что ли?

— Я правда хотел сказать что-то в этом роде. Но ты, Джек, говоря о себе, поневоле многое опускаешь, что я бы еще добавил. Например: я упомянул бы о том уважении, которым ты пользуешься здесь, как регент или канонический певчий, или как там называется твоя должность в соборе; о славе, которую ты снискал тем, что прямо чудеса делаешь с этим хором; о том независимом положении, которое ты сумел создать себе в этом смешном старом городишке; о твоём педагогическом таланте — ведь даже Киска, которая

не любит учиться, говорит, что такого учителя у нее никогда еще не бывало...

— Да. Я видел, куда ты гнешь. Я все это ненавижу.

— Ненавидишь? (С крайним изумлением.)

— Ненавижу. Меня душит однообразие этой жизни. Ты слышал пение в нашем соборе? Как ты его находишь?

— Чудесным! Божественным!

— Мне оно по временам кажется почти дьявольским. Мой собственный голос, отдаваясь под сводами, словно насмехается надо мной, словно говорит мне: вот так и будет, и сегодня, и завтра, и до конца твоих дней — все одно и то же, одно и то же... Ни один монах, когда-то денно и ночью бормотавший молитвы в этом мрачном закутке, не испытывал, наверно, такой иссушающей скуки, как я. Он хоть мог отвести душу тем, что творил демонов из дерева или камня. А мне что остается? Творить их из собственного сердца?

— А я-то думал, что ты нашел свое место в жизни, — с удивлением говорит Эдвин Друд и, подавшись вперед в своем кресле, кладет руку на колено Джаспера и сочувственно заглядывает ему в лицо.

— Я знаю, что ты так думал. Все так думают.

— Да, пожалуй, — продолжает Эдвин, как бы размышляя вслух. — Киска тоже...

— Когда она тебе это говорила?

— В мой последний приезд. Ты же помнишь, когда я здесь был. Три месяца тому назад.

— Что именно она сказала?

— Да ничего особенного — только, что начала брать у тебя уроки и что ты прямо создан быть учителем, это твое призвание.

Младший из собеседников бросает взгляд на портрет над камином. Старшему это не нужно: он видит его, не отрывая глаз от лица Эдвина.

— Ну что ж, милый мой Нэд, — говорит затем Джаспер спокойно и даже весело, — значит, надо мне

покориться своему призванию. Менять уже поздно. А что там в душе, снаружи не видать. Только это, Нэд, между нами.

— Я свято сохраню твою тайну, Джек.

— Тебе я доверил ее, потому что...

— Я понимаю. Потому что мы с тобой друзья и ты любишь меня и веришь мне так же, как я люблю тебя и тебе верю. Руку, Джек. Нет обе.

Они стоят, глядя друг другу в глаза. И, сжимая руки племянника, дядя говорит:

— Теперь ты знаешь, что даже ничтожного певчего и жалкого учителя музыки может терзать честолюбие, неудовлетворенность, какие-то стремления, мечты — не знаю уж, как это назвать...

— Да, милый Джек.

— И ты не забудешь?

— Как я могу забыть то, о чем ты говорил с таким чувством?

— Хорошо. Так пусть же это послужит тебе предостережением.

Он отпускает руки юноши и, отступив на шаг, словно пронзает его взглядом. Тот мгновение стоит молча, вдумываясь в смысл этих последних слов. Потом говорит, видимо тронутый:

— Джек, я, конечно, довольно-таки пустой, легкомысленный малый, и голова у меня не из лучших. Ну ладно, я еще молод — стану старше, может быть, поумнею. Но есть все-таки во мне что-то способное понимать и чувствовать, и поверь, я понимаю и могу оценить, с каким бескорыстием, не щадя себя, ты обнажил передо мною свою душу для того только, чтобы предостеречь меня от грозящей мне опасности.

Мистер Джаспер вдруг весь застывает, словно каменное изваяние, — даже дыхание, кажется, замерло у него в груди.

— Тебе это нелегко далось, Джек, я видел, — ты был взволнован и совсем непохож на себя. Я всегда

знал, что ты привязан ко мне, но даже я не ожидал с твоей стороны такой готовности принести себя в жертву ради моего блага.

Мистер Джаспер опять становится человеком из плоти и крови — это совершается сразу, без всякого перехода, — он смеется, пожимает плечами, машет рукой.

— Нет, Джек, не умаляй свое чувство; пожалуйста, не надо; я говорю от всего сердца. Я не сомневаюсь, что это болезненное состояние духа, которое ты так ярко мне описал, в самом деле очень мучительно и делает жизнь несносной. Но я хочу успокоить тебя; по-моему, мне оно не угрожает. Меньше чем через год Киска выйдет из своего пансиона и станет миссис Эдвин Друд. Я уеду на Восток — там уж готово для меня место инженера — и увезу ее с собой. Сейчас мы с ней иногда ссоримся, ну это неизбежно, потому что какой уж может быть особенный пыл в любви, если все в ней предопределено заранее. Но когда нас наконец обвенчают и податься уж будет некуда, я уверен, мы с ней чудно поладим. Одним словом, Джек, как в той песенке, которую, помнишь, я несколько вольно цитировал за обедом (а кто же лучше знает старинные песни, чем ты!), — «я буду петь, жена плясать и жизнь в веселье протекать». В том, что Киска — красавица, нет сомнений, а когда она станет еще и послушной — слышите, мисс Дерзилка? — он снова обращается к наброску над камином, — тогда я сожгу этот смешной портрет и напишу для твоего учителя музыки другой!

Пока Эдвин говорит, мистер Джаспер, подпершись рукой, с задумчиво-благосклонным видом смотрит на него, внимательно следя за каждым его жестом, вслушиваясь в каждую его интонацию. Даже когда Эдвин умолк, мистер Джаспер продолжает сидеть в той же позе, словно зачарованный; кажется, он не в силах оторвать взгляд от этого оживленного юношеского лица, которое так любит.

Потом он говорит с чуть заметной улыбкой:

— Значит, ты не хочешь, чтобы тебя предостерегали?

— Это не нужно, Джек.

— Значит, все мои предостережения тщетны?

— Я не хотел бы слышать их от тебя, Джек. Во-первых, никакая опасность мне не угрожает. А во-вторых, мне не нравится, что ты ставишь себя в такое положение.

— Пойдем прогуляемся по кладбищу?

— С удовольствием. Только я должен забежать на минутку в Женскую Обитель, оставить там пакетик для Киски. Всего лишь перчатки: столько пар, сколько ей сегодня исполнилось лет. Поэтично, да?

Мистер Джаспер, все еще не меняя позы, откликается вполголоса:

— «От милого все мило», Нэд.

— Вот он, пакетик, в кармане моего пальто. Но надо передать его сегодня, а то вся поэзия пропадет. Навещать пансионерок так поздно не разрешается, но оставить пакет можно.

Мистер Джаспер встает, стряхнув с себя оцепенение, и оба выходят.

ГЛАВА III

Женская Обитель

По некоторым причинам, которые станут ясны из дальнейшего, мне придется дать этому городку со старинным собором вымышленное название. Пусть это будет хотя бы Клойстергэм. Городок этот очень древний, и, возможно, уже друиды знали его под каким-то ныне забытым именем; римляне дали ему другое, саксы — третье, нормандцы — четвертое; так что одним названием больше или меньше не составит разницы для его пыльных летописей.

Да, старинный городок этот Клойстергэм, и совсем неподходящее место для тех, кого влечет к себе шумный свет. Тихий городок, словно бы неживой, весь пропитанный запахом сырости и плесени, исходящим от склепов в подземельях под собором; да и по всему городу то тут, то там виднеются следы древних монастырских могил; так что клойстергэмские ребятишки разводят садики на останках аббатов и аббатис и лепят пирожки из праха монахов и монахинь, а пахарь на ближнем поле оказывает государственным казначеям, епископам и архиепископам те же знаки внимания, какие людоед в детской сказке намеревался оказать своему незваному гостю, а именно: «Смолоть на муку его кости и хлеба себе напечь».

Сонный городок, этот Клойстергэм: здешние жители, видимо, полагают, что раз город их такой древний, то все перемены для него уже в прошлом и больше никаких перемен не будет. Странное, казалось бы, рассуждение, и не слишком логичное, если вспомнить историю предшествующих столетий, однако такая непоследовательность вещь нередкая, и даже в самой глубокой древности люди склонны были тешить себя подобными надеждами. Такая нерушимая тишина царит на улицах Клойстергэма (хотя малейший звук будит здесь чуткое эхо), что в летний полдень даже парусиновые навесы над окнами лавок не дерзают шелохнуться под дуновением южного ветра; а опаленный солнцем бродяга, мимоходом забредший сюда, изумленно озирается по сторонам и убыстряет шаг, торопясь выбраться за пределы этого города с его угнетающим благолепием. Сделать это нетрудно, ибо Клойстергэм, в сущности, состоит из одной-единственной улицы; по ней входят в город и по ней из него выходят; остальное всё тесные, заводящие в тупик проулки с красующимися по самой середине колодезными насосами; только два здания стоят здесь особняком — собор за высокой своей оградой да приютившийся в те-

нистом углу среди мощеного дворика молитвенный дом общины квакеров, по архитектуре и по окраске весьма похожий на чепчик квакерши.

Одним словом, Клойстергэм со своим хриплым соборным колоколом, со своими хриплыми грачами, реющими в вышине над соборной башней, и с другими своими грачами, еще более хриплыми, но не столь заметными, восседающими в креслах внизу в соборе, — это город, который принадлежит иной, уже далекой от нас эпохе. Остатки прошлого — развалины часовни, посвященной какому-нибудь святому, здания, где заседал капитул Женской Обители и мужского монастыря, — нелепо и уродливо вклиниваются здесь во все созданное позже; к полуразрушенным стенам пристроены новые дома, каменные обломки торчат, всему мешая, среди разросшихся вокруг садов; и точно так же в сознании многих обитателей Клойстергэма крепко угнездились обветшалые и отжившие понятия. Все здесь в прошлом. Даже единственный в городе ростовщик давно уже не выдает ссуд и только тщетно выставляет для продажи невыкупленные залоги, среди которых самое ценное — это несколько старых часов с бледными и мутными, словно раз навсегда запотевшими циферблатами да еще почерневшие и разболтанные серебряные щипчики для сахара и пять-шесть разрозненных томов, должно быть, очень мрачного содержания. Единственное, что здесь радует глаз, как свидетельство победоносной и буйной жизни, — это клойстергэмские сады; их много, и они процветают; даже влачащий жалкое существование местный театр имеет у себя на задах крохотный садик; и когда Сатана по ходу действия проваливается со сцены в преисподнюю, он находит приют на этом мирном клочке земли — под сенью красных бобов или на куче устричных раковин, смотря по сезону.

В самом центре Клойстергэма находится Женская Обитель — старый-престарый кирпичный дом, в ко-

тором, говорят, некогда жили монахини, откуда и пошло его название. На тяжелых дверях прибита старательно начищенная медная дощечка с надписью: «Пансион мисс Твинклтон для молодых девиц». Фасад у этого дома такой старый и облупленный, а медная дощечка сияет так ярко, что все вместе приводит на память дряхлого щеголя с новеньким блестящим моноклем в слепом глазу.

Возможно, что монахини былых времен, более смиренные нравом, чем нынешнее упрямое поколение, в самом деле когда-то проходили неслышной поступью по коридорам этого дома, покорно склоняя свои отягченные думой головы, дабы избежать столкновения с низко нависшими потолочными балками; возможно, что они сиживали здесь в глубоких амбразурах окон, перебирая четки ради умерщвления плоти, вместо того чтобы сделать себе из них бусы для украшения своей юности; возможно даже, что две или три были замурованы живыми в стенных нишах или под каменным выступом фронтона за то, что в их жилах бродила еще та самая закваска, с помощью которой хлопотливая Мать-Природа донныне поддерживает жизнь на Земле, — все это возможно, но кому до этого дело? Разве только привидениям (если таковые здесь водятся), а в полугодовых балансах мисс Твинклтон мы не найдем упоминания об этих древних обитательницах ее дома, ибо их нельзя включить ни в одну статью дохода — ни как полных пансионеров, ни как приходящих. И у той дамы, что за скромную (а точнее сказать, мизерную) плату просвещает воспитанниц по части поэзии, в списке избранных стихотворений нет ни одного, в котором затрагивалась бы столь бесприбыльная тема.

Известно, что у человека, который часто напивался пьян или неоднократно подвергался гипнозу, возникают в конце концов два разных сознания, не сообщающихся между собой, — как если бы каждое существовало отдельно и было непрерывным, а не сменялось

по временам другим (так, например, если я спрятал часы, когда был пьян, в трезвом виде я не знаю, где они спрятаны, и узнаю, только когда опять напьюсь); так и жизнь мисс Твинклтон протекает как бы в двух отдельных планах или двух фазах существования. Каждый вечер, как только молодые девицы отойдут ко сну, мисс Твинклтон подкручивает свои локоны, слегка подводит глаза и превращается в совсем другую мисс Твинклтон, гораздо более легкомысленную и совершенно незнакомую ее пансионеркам. Каждый вечер, в один и тот же час, мисс Твинклтон возобновляет прерванную накануне беседу, посвященную местным любовным историям (о коих днем мисс Твинклтон даже не подозревает) и воспоминаниям об одном счастливом лете, проведенном мисс Твинклтон на курорте Тенбридж Уэллс, — именно о том лете, когда некий безупречный джентльмен (которого мисс Твинклтон в этой фазе своего существования сострадательно именует — «этот безумец, мистер Портерс») поверг к ее ногам свое сердце (опять-таки факт, о котором дневная мисс Твинклтон имеет не больше понятия, чем гранитная колонна). Собеседницей мисс Твинклтон в обеих фазах ее существования является некая миссис Тишер — вдова с вкрадчивыми манерами и приглушенным голосом, с склонностью испускать вздохи и жаловаться на боли в пояснице; эта почтенная дама, сумевшая равно приспособиться как к дневной, так и к ночной мисс Твинклтон, занимает в ее пансионе должность кастелянши, но старается внушить молодым девицам, что знавала лучшие дни. Вероятно, эти туманные намеки и породили господствующее среди служанок и передаваемое ими из уст в уста убеждение, что покойный мистер Тишер был парикмахером.

В пансионе есть общая любимица — мисс Роза Буттон, которую все, конечно, зовут Розовый Бутон, — очень хорошенькая, очень юная и очень своенравная. Молодые девицы питают к ней живейший интерес,

ибо им известно, что по воле родителей, должным образом записанной в завещании, для нее уже избран супруг, и опекун Розы обязан, так сказать, из рук в руки передать ее этому будущему супругу, когда тот достигнет совершеннолетия. Подобные романтические настроения среди воспитанниц не встречают сочувствия со стороны мисс Твинклтон в дневной фазе ее существования, и она уже не раз пыталась их умерить, сокрушенно покачивая головой за спиной мисс Розы — очень хорошенькой стройной спинкой — и всем своим видом показывая, что глубоко сожалеет о печальной участи обреченной жертвы. Но результат ее поучений всегда был столь ничтожен — быть может, незримое вмешательство «этого безумца, мистера Портерса» лишало их убежденности, — что вечером в спальнях девицы единодушно постановляли: «До чего же противная притворяшка эта старая мисс Твинклтон!»

Всякий раз как этот предназначенный супруг наносит очередной визит Розовому Бутончику, вся Женская Обитель приходит в волнение. (Девицы твердо убеждены, что он по закону имеет неоспоримое право на свидания с Розой, и если бы мисс Твинклтон вздумала ему препятствовать, ее бы немедленно арестовали и выслали в колонии.) В тот час, когда ожидают его звонка у ворот, и тем более в ту минуту, когда звонок раздается, все молодые девицы, которые могут под каким-нибудь предлогом выглянуть в окошко, уже висят на подоконниках; а те, которые играют на фортепиано, сбиваются с такта; а на уроке французского языка штрафной значок «за невнимание» переходит из рук в руки, словно круговая чаша во время пирушки.

На другой день после того, как в домике над соборными воротами происходил описанный выше обед с двумя участниками, у дверей Женской Обители раздается звонок, как всегда порождая внутри смятение.

— Мистер Эдвин Друд к мисс Розе, — докладывает старшая горничная. Мисс Твинклтон, приняв назидательно-скорбный вид, обращается к юной жертве со словами: «Вы можете сойти вниз, дорогая». Мисс Буттон направляется к лестнице, провожаемая горящими любопытством взглядами.

Мистер Эдвин Друд дожидается в собственной гостиной мисс Твинклтон. Это уютная комнатка, в которой ничто не говорит о науке, кроме двух глобусов, один из коих изображает Землю, а другой — небесный свод. Эти выразительные приборы должны внушать родителям и опекунам убеждение, что мисс Твинклтон даже в часы отдыха готова в любой момент превратиться в некое подобие Вечного жида и блуждать по земному шару или возноситься в небеса в поисках полезных знаний для своих воспитанниц.

Младшая горничная, недавно поступившая на место и еще не выдавшая молодого джентльмена, с которым помолвлена мисс Роза, пытается теперь ознакомиться с ним сквозь щелку неплотно притворенной двери. Заслышав шаги, она отскакивает с виноватым видом и торопливо сбегает по черной лестнице как раз в ту минуту, когда прелестное видение с наброшенным на голову шелковым фартучком проскальзывает в гостиную.

— Господи, как глупо! — произносит видение, останавливаясь и отступая на шаг назад. — Пожалуйста, не делай этого, Эдди!

— Не делать чего, Роза?

— Не подходи ко мне близко. Это так нелепо!

— Что нелепо, Роза?

— Все! Нелепо, что я обручена чуть не с колыбелю; нелепо, что девицы и служанки всюду шныряют за мной, словно мыши под обоями; а всего нелепей, что ты пришел!

Судя по голосу, видение в эту минуту держит палец во рту.

— Ты что-то не очень любезно встречаешь меня, Киска!

— Подожди минутку, я буду любезней, только сейчас еще не могу. Как ты себя чувствуешь? (Это сказано очень сухо.)

— Я лишен возможности ответить, что всегда чувствую себя хорошо, когда тебя вижу, поскольку в данную минуту я тебя не вижу.

В ответ на этот вторичный упрек из-под фартучка на мгновение выглядывает блестящий черный глаз с капризно насуспенной бровкой, но он тут же скрывается, и безликое видение восклицает:

— Ах, боже мой, ты остригся! Половину волос отрезал!

— Кажется, я бы лучше сделал, если бы голову себе отрезал, — говорит Эдвин, ерша помянутые волосы, с досадливым взглядом в сторону зеркала, и нетерпеливо топает ногой. — Что мне, уйти?

— Нет, пока еще не надо, Эдди. А то девицы станут спрашивать, почему ты ушел.

— Слушай, Роза, скажи наконец — намерена ты снять эту тряпку со своей взбалмошной головки и поздороваться со мной как следует?

Фартучек падает, из-под него появляется на свет прелестное детское личико, и обладательница его говорит:

— Здравствуй, Эдди, как поживаешь? Ну? Кажется, это достаточно любезно? Дай я пожму тебе руку. А поцеловать не могу, потому что у меня во рту леденец.

— Ты совсем не рада меня видеть, Киска?

— Ах нет, я ужасно рада. Пойди скорее сядь — мисс Твинклтон!

Эта почтенная дама имеет обычай во время свиданий жениха с невестой через каждые три минуты навещаться в гостиную либо собственной персоной, либо в лице миссис Тишер: совершая эти жертвоприношения на алтарь Приличий, она всегда делает вид,

что ищет какую-то забытую здесь вещь. На сей раз она грациозно проплывает взад и вперед по гостиной, роняя на ходу:

— Здравствуйте, мистер Друд. Очень приятно. Извините за беспокойство. А, вот где мой пинцет. Благодарю вас.

— Я получила вчера перчатки, Эдди. Они мне очень понравились. Просто душки!

— Ну и то хорошо, — смягчаясь, но еще несколько ворчливо отвечает жених. — Я человек скромный и благодарен за малейшее поощрение. А как ты провела свой день рождения, Киска?

— Чудно! Все мне что-нибудь дарили. И у нас было угощение. А вечером бал.

— Вот как. Угощение, а вечером бал. И ты не огорчалась моим отсутствием? Тебе и без меня было весело?

— Ах, очень! — с наивной непосредственностью восклицает Роза; ей и в голову не приходит хотя бы из вежливости выразить сожаление.

— Гм! А какое было угощение?

— Пирожные, апельсины, желе и креветки.

— А кавалеры были на балу?

— Мы, разумеется, танцевали друг с дружкой, сэр. Но некоторые девицы изображали своих братьев. Ах, как было смешно!

— А кто-нибудь изображал...

— Тебя? Ну конечно! — Роза звонко хохочет. — Уж об этом-то они раньше всего подумали!

— Надеюсь, она хорошо играла свою роль, — с некоторым сомнением говорит Эдвин.

— Чудно! Замечательно! Я, конечно, ни за что не хотела танцевать с тобой.

Эдвин отказывается понять неизбежность этого факта и спрашивает, не будет ли Роза так добра объяснить почему?

— Ну, потому что ты мне ужас как надоел, — быстро отвечает Роза, но, видя выражение обиды на его

лице, тотчас умиротворяюще добавляет: — Эдди, милый, я ведь тебе тоже ужас как надоела.

— Разве я когда-нибудь это говорил?

— Говорил! Нет, ты никогда не говорил, только показывал. Ах, как она хорошо это изобразила! — восклицает Роза, снова приходя в восторг от сценических талантов своего поддельного жениха.

— Насколько я понимаю, эта девица большая нахалка, — говорит Эдвин Друд. — Итак, Киска, ты в последний раз встречала свой день рождения в этом старом доме.

— Ах!.. Да!.. — со вздохом откликается Роза и, сложив ручки и потупив глаза, грустно покачивает головой.

— Ты как будто об этом жалеешь, Роза?

— А мне и правда жаль... Жаль этот бедный старый дом... Мне все кажется — он будет скучать по мне, когда я уеду так далеко... такая молодая...

— Роза! Так, может, нам отставить все это дело?

Она кидает на него быстрый, пронизательный взгляд; потом снова качает головой, вздыхает и потупляет глаза.

— Как это понимать, Киска? Что мы оба должны смириться?

Она опять кивает, молчит минуту и вдруг выпаливает:

— Ты же сам знаешь, Эдди, что мы *должны* пожениться и свадьба должна быть здесь, а то девицы будут так разочарованы!

Лицо ее жениха выражает в эту минуту не столько любовь, сколько жалость и к ней, и к себе. Потом он заставляет себя улыбнуться и говорит:

— Хочешь, пойдем погуляем, милая Роза?

Милая Роза не знает, хочет она этого или нет; но вдруг ее личико светлеет, утрачивая столь несвойственное ей и потому несколько комическое выражение озабоченности, и она с живостью говорит:

СОДЕРЖАНИЕ

ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА. *Перевод О. Холмской* 5

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дж. Каминг Уолтерс

КЛЮЧИ К РОМАНУ ДИККЕНСА

«ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». *Перевод О. Холмской* 351

ПРИГОВОРА НЕ БУДЕТ. *А. Ефремов* 425

Примечания. *Е. Десницкая* 439

Литература о «Тайне Эдвина Друда». *Сост. С. Антонов* . . . 445